



**Сергей**

# ДЬЯКОВ

\*

**Д**вадцать два.

Пора писать роман.

Замутить из прошлого "варёнку",  
обналичить сердце, "на карман",  
издоить свободы коровёнку.

Тридцать семь.

Пора писать роман.

Смерть кругом, но жизнь встает на стапель.

Птицы к югу, осень рвет стоп-кран.

Тридцать семь, на сахар, горьких капель.

Сорок девять.

Где он там, роман?

Сорок девять, Карл, в душе занозы ...

Вся округа — мова и Коран.

Жгут в буржуйках белые березы,  
и стихов, лирический туман  
тает, обнажив суглинок прозы...

\*

**Р**асчищаем помойку, зажавши носы,  
подрубаем ивняк по протоке.  
С топором Игорёк — Парамонова сын.  
Сам с пилой — Парамон круглокий.

Растянулись цепочкой:

– Давай-подавай!

Заодно весельчак и печальник.

Прогремит по мосту единица-трамвай,  
из машины посмотрит начальник.

Круговая сплочённость сидит в мужике  
и смекалка — словом нецензурным.  
Что твои, человек в дорогом пиджаке,  
мозговые атаки и штурмы?

Он "сподверху" надпилит, "споднизу" возьмёт,  
сырный клинышек обухом выбьет.

И с другой стороны —

надавить и пойдёт —

и заблещут глаза его рыбы...

...И вот так бы пилить, да махорку курить...  
и своё сочинительство бросить.

По-простому смотреть, о простом говорить  
и мечтать о ботинках на осень...

\*

**С**охнут на печке промокшие валенки,  
старенький домик по крышу в снегу.

Кажется мне, что я снова стал маленьким,  
и ничего изменить не могу.

Детская коечка с тихими вздохами  
снова калачиком впустит меня.  
Ходики древние жалобно охают  
ночью без бабушки и без огня.

Только лампадка в углу над божницею,  
только метель в переплетный проём...  
В детскую кочку, в сон этот ситцевый  
не помещается сердце моё...

\*

*Савелию*

**К**огда планида с яростью слепой  
меня сжимает, словно курью гузку,  
я ухожу в решительный запой,  
как жесткий диск идет в перезагрузку...  
Когда обшарен каждый закуток,  
и весь табак искурен самокруткой,  
во мне шугой густеет кровоток  
и застывает оторопью жуткой.  
А то кольнет — хоть за сердце держись.  
Падет слеза в похмелье покаянном.  
Мол, до сих пор не понял эту жизнь,  
не примирился с миром окаянным.  
Чугунный мячик скачет в голове,  
она пуста который понедельник.  
И я звоню — мой Добрый Человек,  
мне очень надо хоть немного денег.  
Я спирт куплю и крымских сигарет,  
пойду один сидеть в полынной ямке,  
простивший всех ночной анахорет,  
седой подранок, выплывший из пьянки.  
Сырые звезды и чертополох,  
и сладкий сон у тополя в подножье.  
Не знаю как, но мне поможет Бог,  
пока душа еще творенье Божье...

\*

**Р**абота мне выкручивает руки,  
и по ночам немеют пальцы-крюки,  
но я иду в счастливом отупенье  
от проходной до автоостановки,

я окрыленно рад своей сноровке,  
мною был придуман новый вид крепления,  
и завтра утром будет не до скуки.

Потом, с привычкой пуска и наладки,  
я ворошу потертые тетрадки,  
найти пытаюсь первую причину  
незавершенного стихотворенья,  
расширив образ методом сверленья,  
скрутив хандру в матерую кручину,  
чтоб от печали сердцу стало сладко.

Так и живут монтажник и художник.  
Один спаситель, а другой заложник  
неправильной какой-то, в целом, жизни,  
когда болезнь становится искусством,  
когда души созревшую капусту  
насквозь проели творческие слизни,  
и не спасает рубль-подорожник...

\*

**Т**о ли стряпуха сквозь сито остатки сусеков сеет,  
то ли мешок из холстины льняной вытрясает мельник,  
белые ль пчелы летят в клевера и жужжат в росе их,  
ломкими крыльями в жизни земной отразившись мельком.

Снег ли влечется к траве, и трава ли влечется к снегу,  
к смерти живое, к живому ли смерть — все одно сожженье.  
Ангел становится бесом, и боль переходит в негу,  
с неба на землю, с земли в небеса — только полсажени.

Камень все точит вода и все крутит тяжелый жёрнов,  
белое платье в кувшинках увязнет, как злое лихо,  
и оборвется веревка, не выдержав гордый норов.

«Все перемелется, будет мука», — скажет мельник тихо.  
Молвит старуха: «Поешь пирожок, он от силы черной».  
Крутится мельничное колесо. Поет соловьяха...

\*

Когда разлука накрывает меня с головой,  
и ночная тоска затягивает в свою трясицу,  
я покупаю спирт на улице Луговой  
и пишу письма мертвому сыну.

И дым пороховой завывает в трубе,  
и падает на снег тронутая снегирем рябина,  
и поет о своей свободе и о своей судьбе  
глинобитная окраина-окарина.

Мол, сама породила, захочу — убью,  
эта наша семья, голытьба, слободка.  
Самый действенный клич — это «наших бьют»,  
не заменишь его романтикой или водкой.

Тот, кто видел смерть товарища своего,  
не сменяет месть свою, на табак и сахар.  
Молодость на войне, ценнее всего.  
А еще ненависть и отсутствие страха.

Все мы верим в ребячестве, что не умрем.  
Только давит нас время — шершавый глетчер.  
На сугробике ягоды, поднадклеваны снегирем.  
А что сынок, на небе оно, легче?...

\*

Говорила бабушка: «Жизнь — плакун-трава.  
За Ивана Силыча вышла в двадцать два.  
Завалило милого в шахте стволовой,  
и навек осталась я смолоду вдовой».  
Принесли ей валенки, выстроились в ряд.  
«Это правда?» — всхлипнула. — «Правда», — говорят.  
Тормозочек в торбочке, как ложила, цел —  
до обеда бахнуло, так и не поел.  
Всю войну работала — тарила тротил,  
но потом конвейер ей руку закрутил.  
В почтальонках бегала, через райсовет.  
Год спустя посватался хроменький сосед.

Заходил-обхаживал, помогал с углём.  
«Чай не дети малые, веселей вдвоём».  
Пятилетку прожили, деток бог не дал.  
На работе мужниной по ночам аврал...  
Как другие, сладили б, да в селе чужом,  
закололи беглые сокола ножом...  
Вот и стала бабушка жить да попивать,  
квартирантам на зиму комнатку сдавать.  
«Подзабыла что-то я, кто у нас теперь?»  
Говорит-то правильно, а пойди проверь».  
И трясёт бутылочку, смотрит в потолок;  
«Что ж такие малыньки делаешь, милоч...»  
Квартирант за выпивкой к руднику бежит,  
а трамвай-четвёрочка рядом дребезжит.  
В небесах шахтовые звёзды-фонари  
из забоя вечного светят до зари.  
Из забоя вечного, шахты стволовой...  
Чтобы жил и здравствовал город вековой...

\*

Пятьдесят. А все бирюльки.  
За окошком снег стеной.  
Ты налей мне из кастрюльки  
чай вишнево-травяной.

Память бредит, сердце ноет.  
Я ль не пильщик-сучкоруб?  
Не лихой Аника-воин?  
Не калика-пустозуб?

Прошлой жизни пуповину  
Перевяжет снеговой,  
чтоб вторую половину  
жить толковей и новей.

Слава Богу, снова бедность!  
Щи да кашу из печи  
кушай с маслицем небесным,  
сердце радостью лечи.

Светлой радоницы птица —  
свет-снежинка серебрится  
искрой росных клеверов.  
Ах, голубка-голубица,  
дай мне с миром примириться.  
Крестокрылая звезда.  
Богородицын покров.

\*

**М**не не впасть бы ни в прелесть, ни в ересь,  
пусть ни жалость, ни ярость не ест.  
Но, с другими гордынею мерясь,  
про нательный свой помнить бы крест.

Ночь затянута кирзовым берцем.  
Вышиванку под ватник надев,  
кто-то греет холодное сердце  
и читает стихи нараспев.

Да и сам я, за камерной «решкой»,  
с оперившимся вдруг оперком  
на допросе с ответами мешкал,  
о побеге мечтая тайком.

Пустобрёха ты ночь, растеряха.  
Мало крови, ещё попроси...  
Охрани меня, ангел, от страха  
и от смелости лютой спаси...

Перемешаны ладан и миро.  
Только б слышать сквозь звон бубенцов,  
как плывет и возносится: «Мир Вам»  
над церквушкой в тринадцать венцов...

\*

**В**чера весна и помыслы благие,  
и страсти захватившие в полон.  
Сегодня осень, вечер, литургия,  
солома, Саломея, Соломон...

\*

**Б**ыло холодно, ночь по распадку текла,  
мы устало брели незнакомой тропой,  
и густела в ногах травяная смола,  
и твердела зеленой своей скорлупой.

А потом мы подсели к чужому костру,  
о Чегеме, рассказывал нам костровой,  
врачевал наши души и вел их к добру  
от житейского зла и тоски мировой.

И когда он ушел в свой небесный придел,  
мы из слов его, строили теплый шатёр,  
чтобы новый рассказчик, в нем сердце согрел  
и остался поддерживать этот костер.

\*

**В**от рыбак на запруде. Он удит глубокую рыбу.  
И спина его как бы готовится к свежему гробу.  
Да и рыба, под тяжестью водной, слаба плавниками,  
раздалась и раздулась, в зеркальных чешуйках, боками.

Все, что помнит рыбак — поплавок, да заветная леска,  
да крючок-червячок да искринка далекого всплеска.  
Жизнь отрезала, озера, тихая, острая бритва,  
и с дымком-костерком тишина — это тоже молитва.

А жена его, будет вытряхивать карповый ливер,  
будет внук под окошком, тягать двухпудовые гири.  
И читать по слогам, будет внучка любимая Лиля,  
в свете лампы ночной : «Дурачина старик, простофиля»...

\*

**Я** снова понимаю суть вещей  
и обретаю смысл существования.  
Так радостно, пьянящее вдыханье  
предзимнего,  
когда в сухом плаще,  
из комнаты прокуренной,  
наружу  
выходишь  
в полнолуние,  
не боясь,  
случайно наступить в сырую грязь  
ночного мира,  
вставленного в стужу.

\*

солнце гаснет  
и к сладкой печали зовет  
первый снег застывает  
скорлупкой яичной  
и вокзальной разлуки  
густой креозот  
наполняет дыханье  
и сердце девичье  
кто-то тягой печной  
за ночь вытянет душу  
разматывает-распустит  
как выцветший свитер  
и покатится мячик-  
клубочек Танюшин  
вдоль реки  
что течет в океан ледовитый

а бывало подкинешь  
и ждать устаешь  
а когда упадет  
снова к небу взлетает  
а бывало снежинку

в ладошке несешь  
и снежинка  
в горячей ладошке не тает

а сегодня  
ты книжку открыла с утра  
лепесток незабудки  
напомнил о лете  
и тряпичная кукла  
подружка-сестра  
на вопросы твои  
не сумела ответить

а сегодня  
как выпавший снег холодна  
как пустое жилье  
после тихого взлома  
ты весь вечер глядишь  
в перекрестье окна  
непомерную силой  
к закату влекома

ах Татьяна  
скажи  
что с тобою случилось  
пошатнулось  
упало  
погасло как свечка

водовозы уже возвращаются с речки  
с ними верное слово  
и светлая сила

кто-то входит  
и мячик роняет в избе  
перепачканный сажей  
как старая вьюшка

но Татьяна сказала  
оставьте себе  
это просто пустая  
и злая игрушка